



# ВОЙНА, КОТОРАЯ НЕ КОНЧАЕТСЯ

Кардин В. Неисчерпаемо, невосполнимо / В. Кардин // По существу ли эти споры? : [очерки о сов. лит.] / В. Кардин. – Москва, 1989. – С. 387-398.

Это изречение — «для тех, кто был на войне, она никогда не кончается», — услышанное впервые, многих из нас поразило броскостью, эффектностью. Но и только. Почему «не кончается»? Давно стихли артиллерийские залпы, зачехлены орудия, вернулись домой фронтовики, кто более, кто менее удачно наладив жизнь под спокойным небом.

Запомнились послевоенные строки поэта: «На нас до сих пор военные сны, как пулеметы, наведены». Строки запомнились, а сны такие все реже и реже.

Но афоризм про войну, которая не кончается, не идет из памяти. Напротив, обретает неотвратимую силу. Война, запав в глубь нашего сознания (и подсознания), постоянно напоминает о себе. Я не только о неганданных встречах, письмах, которые словно бы десятилетиями шли оттуда, из нашей фронтовой юности, и вдруг сегодня доставлены почтальоном, не только о тревожно-напористых междугородных звонках по телефону, приносящих горькие вести. Я говорю о мироощущении, что исподволь вырабатывалось у тех, кто начинал свою взрослую жизнь в окопах и траншеях Великой Отечественной, кого относят к фронтовому поколению.

Вполне возможно, это чувство постепенно бы ослабело, если б над планетой не нависал кошмар термоядерного уничтожения и минувшая война оставалась только прошлым, не таила в себе грозного предостережения.

Литературу о войне создавали писатели разных поколений, да и те, кто представляет одно поколение, видели ее каждый по-своему, каждый на свой лад рассказывал о ней, каждый по-своему менялся от книги к книге.

Какое-то представление об этой литературе, этих

изменениях — хочется верить — дадут три статьи, помещенные в конец сборника. Первой идет статья «Неисчерпаемо, невосполнимо», написанная в год сорокалетия Победы, второй — «Четыре плюс двадцать» — в год двадцатилетия; под занавес дана статья 1971 года «...Человек твоего поколения», снабженная послесловием.

Такая последовательность имеет свои резоны, вполне доступные читателю. Постскрипtum в некотором смысле подбивает итог и остальным работам, объясняет их направленность.

## НЕИСЧЕРПАЕМО, НЕВОСПОЛНИМО

Когда сегодняшний день становится вчерашним, меняются его краски, иначе звучат доносящиеся сквозь гул десятилетий слова, по-другому воспринимаются многие факты. Дни уже отступившей в историю войны сейчас высвечиваются во многом по-новому.

Но как бы они ни высвечивались, память не мится с забвением, и с годами не слабеет зловещий смысл деклараций, шумно провозглашенных теми, кто намеревался на костях человечества возвести нерушимое здание тысячелетнего (не меньше!) рейха. Они умели с циничной прямоотой формулировать свои задачи и умели изготавливать орудия, предназначенные для осуществления таких задач. Их программные заявления не оставались всего лишь словоизлиянием маньяков, шизофреническим бредом обитателей желтого дома.

Гитлер: «Мы обязаны истреблять население, это входит в нашу миссию охраны немецкого населения. Если меня спросят, что я подразумеваю под истреблением населения, я отвечу, что имею в виду истребление целых расовых единиц».

Геббельс на митинге в Берлинском спортпаласе: «Речь здесь идет не о методе, которым нужно сокрушать большевизм, а о цели... Вопрос, следовательно, не в том, ведут ли они к успеху. Во всяком случае мы на все решились». В своем дневнике Геббельс и того откровеннее: «Фюрер говорит, правдой или неправдой, но мы должны победить... А когда мы побе-

дим, кто спросит нас о методе? У нас и без того столько на совести, что мы должны победить...»

Не сомневаясь в победе, они деловито планировали будущее устройство на выжженной земле, определяя участь наций и народов. Русские? Все ясно: «Или полное уничтожение русского народа, или онемечивание той его части, которая имеет явные признаки нордической расы».

Обладатель черепа, соответствовавшего нордическому стандарту, сохранял шансы остаться в живых, прозябая на правах недочеловека. «Целью обучения должно быть только: простой счет, самое большое до 500. Умение читать я считаю ненужным». «Ни при каких условиях не должны производиться прививки и другие оздоровительные мероприятия». И т. д.

Ну, а тот, кто поднялся перед отлаженной брошированной лавиной и принял бой, он во что верил, на что уповал? Различал ли сквозь пороховую гарь грядущее? как рисовал его себе?

В августе 1943 года под Мгой Павел Шубин написал стихотворение «Полмига» — о солдате, который идет на верную гибель и не мечтает дожить до седины, до славы. На шаг приблизиться бы к вражескому дзоту и всадить туда гранату.

Кончается же стихотворение двумя неожиданными строками:

...Прожить бы мне эти полмига,  
А там я сто лет проживу!

Поэт уже тогда понял, почувствовал: не рассчитывая выжить, солдат в глубине души хранит надежду жить и жить. Не загадывая на завтра, не различая во фронтовом мареве его контуры, мечтает о нем, верит в него. Такая вера — тоже сила противостояния. С годами мы все отчетливее понимаем, как трудно было ее сберечь, как глубоко она гнездилась. Читатель заметил, что в повестях, романах, поэмах о войне герои частенько вспоминали прошлое и редко говорили о послевоенных временах. Словно суеверие удерживало. Солдат из стихотворения П. Шубина лишь в последние полмига унесся мечтой в недоступно далекое столетие.

Прежде — да не покажется странным — ему недосуг было строить миражные планы, прозревать грядущее.

Лишь оставшись с глазу на глаз со смертью, он позволил себе такое. И если ему суждено было выжить, трепетно хранил бы память об этом миге, о дне, оставшемся там, за чертой, отделяющей войну от мира.

...Ни главнее, ни важнее  
Я не увижу в сотню лет,  
Чем эта мокрая траншея,  
Чем этот серенький рассвет.

Так писал Сергей Наровчатов в послевоенные дни, незадолго до кончины. Писал, будто подводил итог своей жизни.

Война заняла всего несколько лет, но эти годы, месяцы, дни, минуты обладали безусловной властью над тем, кто прошел через них, обладали недекла-рируемым главенством. На шаткой грани между жизнью и смертью решалась судьба человека, народа, человечества.

Война спрессовала время, насытив его таким много-образным смыслом, вложив в него столько всего, что бывший солдат и спустя десятилетия живет как бы в двух измерениях — там, в далеком фронтовом прош-лом, и в сегодняшнем дне, совсем вроде бы не совпа-дающем со вчерашним; даже трудно найти точки сопри-косновения и не всегда просто объяснить с тем, кто судит о войне по учебникам, телевизионным фильмам, кинохронике.

Литературе тоже непросто постичь человека, кото-рому «до смерти четыре шага». Непросто было и тогда, когда солдат, отрешившись от всего, делал эти шаги навстречу гибельному огню. Нелегко было и потом, когда бросок обратился в память, война — в историю. И бросок и война взывали к осмыслению; как-то они соотносятся между собой, солдатские полмига и фрон-товые действия, вовлекающие сотни тысяч. Как соот-носится единичная судьба и судьбы народов, правда войны, открывающаяся из окопа, и правда, доступная военачальнику, посвященному в перспективы, тайны и тонкости, неведомые солдату. Как соотносится фронто-вой день и годы мирной жизни, предшествовавшей ему и наступившей после него.

Готовые ответы не для настоящей литературы, тем более — литературы о войне. Война — тема из сложней-ших, мучительных. И по объективной своей сути, и

по субъективным напластованиям. Достаточно вспомнить, что понятие «окопная правда» вызывало у иных критиков и прозаиков презрительную гримасу. Такая реакция возникла не на пустом месте. Она — подчас безотчетно — отражала определенное умонастроение, не слишком доверявшее опыту, вынесенному из окопов. Все ли разглядишь в азарте рукопашной? в броске на амбразуру дота? много ли увидишь из-за бруствера?

Не отказывая солдату в отваге, литераторы, подразумеваемые сейчас, не допускали, будто он сложно мыслит и сложно чувствует. Да и зачем это ему? Решения принимались где-то наверху, их безграничная мудрость не оставляла места для духовной активности, умственной самостоятельности того, кому надлежит исполнять приказ, сжавшийся на последней стадии до короткого «Вперед!».

Нельзя забывать: первые рассказы, очерки, повести о войне писались, как правило, авторами, прибывшими на передовую с корреспондентским удостоверением, с заданием своей газеты. Такой командировки вполне достаточно, чтобы лечь в братскую могилу вместе с бойцами переднего края. Но ее не всегда достаточно, чтобы проникнуться окопным духом, впитать изо дня в день копившуюся правду солдатского бытия.

Сознавая всю трагедийность войны, литератор вместе с тем воспринимал ее и как объект воссоздания, его интерес носил специфически профессиональный характер, предполагавший не столько непосредственное участие, сколько наблюдение. Это восприятие напомнит о себе, когда прямой участник, не помышлявший тогда о писательстве, возьмется за перо. Но до этого, как минимум, надо дожить. А литература творилась постоянно. В дни войны и в первые мирные годы.

Разумеется, всякий писатель домысливает свои фронтовые впечатления. Однако, домысливая, он пребывает во власти не только фактов, но и уже упрочившейся их трактовки. Поэтому зачастую солдат представлял эдаким смельчаком, рубахой-парнем, исполнителем безупречно пронизательных полководческих решений. (Домысливая в таком духе военную обстановку, писатели обычно изображали Ставку — царством непогрешимой мудрости, воплощенной в одном человеке. Когда стали выходить воспоминания видных полководцев, когда вышли романы К. Симонова «Жи-

вые и мертвые», В. Карпова «Полководец», выяснилось, что прежние представления о принятии кардинальных решений не во всем соответствует истине; процесс выработки оперативных и стратегических планов не отличался идилличностью, не всегда хватало необходимых сведений, не всегда доставало времени, случались ошибки, возникали разногласия...)

«Окопную правду» принесли в литературу преимущественно те, кто провел войну в окопах. Вчерашние солдаты, сержанты, младшие офицеры, командовавшие батареями и взводами — командиры, о которых говорили: «Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». Их впечатления подчас чем-то отличались от впечатлений литераторов, ставших в войну корреспондентами. Если в первые послевоенные годы редакционная ситуация более благоприятствовала таким писателям, то со второй половины 50-х годов общественная и литературная обстановка начала меняться. «Лейтенантская» проза, преодолевая преграды, нередко подвергаясь нападкам, все-таки торила себе дорогу.

В этот же примерно период стали набирать силу военные мемуары. Прямой связи между ними и «окопной правдой» новой прозы нет. Но есть переключка, обусловленная зовом наступивших дней; прежних сцен, представлений, сведений уже было недостаточно. К. Симонов неоднократно говорил о подспорье, каким служили ему устные и письменные воспоминания ветеранов, когда он трудился над эпопеей «Живые и мертвые».

У вчерашних лейтенантов и сержантов, пробовавших свои силы в литературе, мы не встретим подобных признаний. Но это не значит, будто их проза безотносительна к военной мемуаристике, ее тенденциям.

На стороне «лейтенантов» был бесценный жизненный опыт, которым одарил их фронт. На стороне писателей старшего поколения — прежде всего опыт литературный, опыт взаимоотношений с издательствами, редакциями, наконец, авторитет имени.

Неверно обособливать одних от других, выискивать противостояние там, где его нет. Но нельзя не видеть различий в творчестве писателей разных поколений, неодинаковость знания и фронтового опыта, бесконечную сложность путей военной литературы и своеобразие взаимного обогащения.

Многие трудности в изображении человека на войне сопряжены с трудностями, принесенными войной. Она лишала уединения и досуга, отрывала от близких, погружала в необычные условия, сводя с далекими еще недавно людьми, ломая устоявшийся уклад, нормальный образ жизни, давая нагрузки, к которым он не готов и которые в обычное время непосильны. Парадоксы на каждом шагу. Малограмотный сержант начальствовал над вчерашним инженером, агрономом, директором школы, искусствоведом. Кадровый командир мог сплеховать там, где вдруг обретал себя новобранец. Человек, прежде живший впроголодь, в неприхотливой обстановке, омрачавшей его дни, лучше «врастал» в войну, чем тот, кто жил в достатке и комфорте...

Война состояла не из одних атак и роковых «полмигов». Но затишье означало рытье — с зари до зари — траншей, землянок, блиндажей, оборудование огневых позиций и наблюдательных пунктов. Передислокация — ночные марши с винтовкой и тяжеленным вещмешком, с гранатами, оттягивающими ремень, с коробками для пулеметных лент.

Напряжение фронтовой обстановки усугубляется постоянной зависимостью от приказов, регламентирующих все и вся, лишая самостоятельности и одновременно настаивая на ней. Впрочем, не всякий приказ стопроцентно исполнялся...

В 1944 году Илья Эренбург на вопрос американца «Что думают русские о будущем?» ответил: «Нам некогда — мы воюем». И впрямь, солдату, броском приближающемуся к вражеской огневой точке, некогда углубляться в раздумья. И тому, кто за сутки при полной выкладке отмахал четыре, случилось, пять десятков километров, не до бесед на отвлеченные темы. На привале солдат проваливается в сон, пока не разбудит команда «Подъем!».

То, что на армейском языке именуется «ближайшей задачей», «задачей дня», требовало от фронтовиков нечеловеческого напряжения, предельной собранности, когда отбрасывается все побочное.

Лейтенант в своих мыслях обычно не шел дальше рубежа, который надо захватить либо удержать. У командира полка, дивизии, корпуса полоса шире, задача сложнее, но и ему долгосрочные прогнозы не

с руки. Нынешний день, завтрашний, а там — поглядим, обстановка подскажет, поступит новый приказ.

Литература, особенно в первые повоенные годы, готовно следовала за такой именно военной жизнью: поле боя, марш, бесхитростный земляночный быт, деловые командирские совещания... Подавляющее большинство этих книг, невзирая на правдивость иных сцен и положений, забыто. Их авторы слишком верили очевидному и не слишком вникали в потаенное. Не только в том, разумеется, причина короткого века многих тогда написанных и восторженно оцененных критикой повестей, романов. Принимая их за конечную, исчерпывающую правду войны, критика спешила «закрыть тему», отечески призывала, например, молодых поэтов, донашивавших шинели, перестроиться соответственно с перестройкой экономики, корила, что «не могли оторваться от окопных представлений... Словно продолжали окопную жизнь в то время, как...».

Проза и поэзия не могли не жить окопной жизнью, оставшейся неизбежно реальной, следовательно, не спешившей обнажать свои глубины. К ним-то и предстояло пробиваться, уходя от описательства, от недавнего «нам некогда — мы воюем». Да, И. Эренбург сказал тогда правду. Но солдат, бросившийся под пулеметные струи, думал, надеялся обмануть смерть и верил в долгие достойные годы, щедро оплаченные кровью. В это верили народы...

Книге о войне обеспечивается долгая жизнь обычно в том случае, когда в ней, не тесня и не упрощая войну, присутствует грядущее, в которое верил боец. Когда автор озабочен и проблемами, о которых не всегда успевал подумать солдат, но уже сталкивался с ними, соприкасался.

«Меня интересует не сама война, но нравственный мир человека, возможности его духа», — признается Василь Быков.

Вчерашние лейтенанты проявили такой интерес раньше, осознаннее, чем старший писательский призыв.

Человеческое становление «лейтенантов» пришлось на годы войны, писательское — на вторую половину 50-х годов, то есть на ту пору, когда многие их литературные учителя и наставники отошли от фронтовой темы, так и не ставшей для них магистральной, определяющей их творчество. Это не умаляло авто-

ритет старших, не снижало значение уроков, но обозначало вполне естественный водораздел.

К. Симонов в отличие от большинства писателей его поколения не отступал от войны. Такая верность не исключала своих сложностей, даже противоречий. На исходе войны К. Симонов утверждал, что с наступлением мира наибольшую ценность будут представлять фронтовые дневники писателей. «Однако эти слова разошлись с делом», — впоследствии заметил он. Разошлись, однако, более решительно, нежели предполагал сам писатель, поддававшийся поветриям, не всегда настаивавший на подлинной правде о боях, крупницы которой сберегли поденные записи. Он, судя по всему, находил оправдание таким отступлениям, еще не подозревая, что подобные поветрия и подобные оправдания вырастут в препятствие; его придется преодолевать, заново пробиваясь к военной действительности. Понадобится преодолевать и самого себя. Тогда-то он вернется к дневникам, часами будет слушать рассказы ветеранов...

«Он говорил и о себе, и о том, что написал тогда (в послевоенное время. — В. К.), беспощадно, считая, что его как человека и как писателя чуть не погубила тщеславно неумеренная общественная деятельность на ниве литературы, — так он выразился, — пишет один из вспоминающих о Симонове. — Он рассказывал, как несправедливый разнос повести «Дым отечества» и неоправданные дифирамбы по поводу пьесы «Чужая тень» дезориентировали его, внесли опасную сумятицу в его жизненные и литературные представления».

В каком-то отношении вчерашним лейтенантам и сержантам, вступавшим в литературу, было легче. Они не знали давящего груза наград и славы, внутреннего разлада, необходимости перестраиваться. Ветер дул им в паруса. Правда, не настолько сильно, чтобы смести преграды на пути, избавить от предвзятых критических наскоков и вздорных назиданий.

Константин Симонов хранил верность фронтовой теме до последнего дня. Владимир Тендряков незадолго до смерти обратился к своему солдатскому прошлому.

Эти заметки не претендуют на исследовательское сопоставление творчества двух несхожих писателей. Заметки касаются по преимуществу повести К. Симо-

нова «Софья Леонидовна» и рассказа В. Тендрякова «День, вытеснивший жизнь», опубликованных посмертно. Их авторы, подобно многим участникам Отечественной войны, покинули жизнь в пору зрелости. В посмертных публикациях почти всегда — независимо от авторских побуждений — есть что-то от итога.

Два небольшие сравнительно произведения позволяют увидеть, сколь многообразна, многослойна и многосложна тема, сколь неотвратимо выявляет она писательское лицо, художнический потенциал. Возвращаясь к далеким фронтовым дням, авторы — каждый на свой лад — стараются разглядеть, понять, как дни эти, как «полмига» отзовутся в грядущих десятилетиях.

Литература о войне будет создаваться и после нас, когда далекое грядущее станет сегодняшним днем, возникнут новые звенья в цепи времен, новые взаимозависимости между звеньями. Верится: эти повести, романы, пьесы достигнут высокого совершенства, откроют еще неведомые горизонты<sup>1</sup>. Но то, что принесено людьми с войны, никто другой никогда уже не принесет. Их вклад уникален. И неповторим увиденный ими человек на любой пяди фронтовой земли: пехотинец Сашка Вячеслава Кондратьева, летчики в романе Артема Анфиногенова «Мгновение — вечность», радисты и конники из документальной повести Александра Родина «Волга, Волга! Я — Ока», танкисты из романа Владимира Михайлова «В свой смертный час», артиллеристы из повести Константина Колесова «Самоходка номер 120».

(Помня об уникальности вклада, не забыть бы и о

---

<sup>1</sup> В 1986 году В. Катаев писал: «Некоторые считают, что тема Великой Отечественной войны исчерпана, что о войне все сказано, все написано писателями — прямыми ее участниками. Но я думаю, что подобное мнение неверно. Тема Великой Отечественной войны далеко не исчерпана. Она только еще начала разрабатываться по-настоящему и не является достоянием лишь одного поколения. Она — достояние целой эпохи. Писатели послевоенного поколения приняли у своих старших братьев, писателей-фронтовиков эстафету военной темы». Свидетельство сделано маститым писателем, опубликованным в годы войны несколько превосходных рассказов. Но когда В. Катаев решил дополнить эпопею, начатую романом «Белеет парус одинокий», и взялся за роман «Катакомбы» (первоначальное название «За власть Советов»), он столкнулся с неизвестными прежде трудностями, потратил более десяти лет и не добился успеха. «Катакомбы» — наименее совершенная часть тетралогии «Волны Черного моря».

том, с каким трудом он вносился. Я имею в виду не только само создание книги, но и долгий их путь к читателю. Никто сейчас не твердит: «Сколько можно?..», «Зачем нужно?..». Но кое-кто из редакторов именно так думает. Долгие годы, иногда десятилетия пробивались некоторые из названных книг к ротационной машине. Неизвестно, как бы сложилась писательская судьба В. Кондратьева, не помоги ему К. Симонов...)

Если исключить войну, то в судьбах К. Симонова и В. Тендрякова, как и в природе их дарований, мало общего. Но войну не исключишь. В ней К. Симонов обрел себя. В. Тендряков — это подтверждено посмертно опубликованным «Днем, вытеснившим жизнь» — жил с чувством неистребимости фронтового прошлого. В отличие от сверстников В. Тендряков не спешил рассказать о фронте, хотя знал его лучше многих (более двух лет солдатом, сержантом; в самой гуще, в Сталинграде, под Харьковом). Его писательская биография не похожа не только на симоновскую, но и на биографии большинства однокурсников послевоенного Литинститута — создателей «лейтенантской» прозы. Он одержимо устремлялся «За бегущим днем» (название одного из его романов). Этот день настолько властно его захватывал, что трудно было вообразить В. Тендрякова ушедшим в воспоминания, пусть даже такие острые, как воспоминания о минувшей войне.

Но и К. Симонов, родившийся восемью годами раньше В. Тендрякова, тоже составлял некое исключение среди писателей-сверстников, продолжая работать над военной темой и тогда, когда новое поколение прозаиков принесло свое знание войны.

Читая «Живых и мертвых», примыкающие к роману повести «Пантелеев» и «Левашов», мы обычно чувствуем несочиненность того, что рассказано автором. Близость факта, запечатленного в слове и реально пережитого, родство между художественным воспроизведением и дневниковой записью.

Повесть «Софья Леонидовна» составляла первоначально одну из сюжетных линий романа «Живые и мертвые» и, по свидетельству Л. Лазарева, автора обстоятельного послесловия к публикации, вынута из романа в самый последний момент. По соображениям

локализации сферы действия, сгущения сюжета вокруг Синцова.

Рассказано здесь о подполье, то есть о том, к чему К. Симонов непосредственно не был причастен. Он угадывал сложности, подводные рифы, ожидающие его, чувствовал и драматизм положения некоторых подпольщиц. Скажем, Тони, вступившей в любовную связь с немецким офицером, что, как сказано в повести, было «на самый крайний случай» предусмотрено в работе осведомительницы.

Конечно, К. Симонов с его неизменной обстоятельностью, нараставшим с годами стремлением к подлинности наводил справки, стремился уяснить себе особенности подпольной деятельности, вникнуть в тонкости. (Одно из подтверждений его настойчивости — короткая рабочая запись: «Как правило, партизанский отряд с радиосвязью — это трамплин для городской агентуры. С этого трамплина прыгали в город». Перед читателем, кино- и телезрителем партизанский отряд нечасто предстает в таком своем назначении.)

Мемуарная литература о борьбе во вражеском тылу вряд ли помогала ответить на вопросы, обступавшие К. Симонова, чуть он прикоснулся к теме подполья. Подводные рифы угадывались, а лоций не хватало.

Сложилось так, что воспоминания командиров партизанских отрядов и соединений, вожаков подполья, в отличие от воспоминаний военачальников, стали публиковаться сразу после победы. Это были зачастую беллетризованные повествования (в их написании обычно участвовали профессиональные писатели, осуществлявшие, так называемую, литературную запись), воспроизводившие дни и героические эпизоды Сопротивления. Благодаря им мы узнали немало имен и подробностей. Получили представление о размахе войны во вражеском тылу.

Однако такие воспоминания несли на себе печать первых послевоенных лет, когда не слишком принято было докапываться до мучительных противоречий и напряженных обстоятельств, приподнимать завесу над кое-какими драмами недавнего прошлого. (Попытку Героя Советского Союза Д. Медведева восстановить правду о винницком подполье встретили в штыки; газетная статья резко одергивала автора. Книга «На

берегах Южного Буга» вышла лишь в 1957 году, когда Д. Медведев уже умер.)

Фронтовые мемуары пришли к читателям позже, чем партизанские. Как правило, они не претендовали на беллетризм, но стремились к полноте фактов, к аналитичности. Они отвечали времени своего появления, настаивавшего на большей откровенности, на доскональном осмыслении. Однако партизанские руководители ранее уже сказали свое слово. На новом этапе военной мемуаристики мы не услышали их голоса, и осталось ощущение недосказанности.

Безусловно, К. Симонов это чувствовал, понимал. Но, видимо, говорить о том, о чем не сказали сами подпольщики и партизаны, не считал возможным. По крайней мере, в первоначальном варианте, так и не дождавшемся окончательной обработки, отделки.

Не Тоня, попавшая в мучительный переплет, не радистка Маша, чьи действия, переживания не лишены значения, но лишены неповторимости, приковывают к себе внимание писателя. Повесть прежде всего — о Софье Леонидовне, о внутренней несовместимости обыкновенного порядочного человека и обыкновенного фашизма. Эта несовместимость становится реальной силой в ожесточенном единоборстве.

От Софьи Леонидовны какая-то часть читателей, привыкших к литературным стереотипам, может ждать антипатриотического поведения: из «бывших», дворянка, семья пострадала от Советской власти.

Прилипко, в гораздо меньшей степени «бывший», не колеблясь, принимает сторону немцев, его племянник Шурик торопливо делает карьеру полицаю.

Полное соответствие Прилипки и Шурика анкетному стереотипу (был ущемлен, а с приходом немцев — предал) не слишком обогащает наше понимание психологии предательства. Стереотип имеет сравнительно давнюю историю, он начал складываться в первые месяцы войны, когда на захваченной гитлеровцами земле, как грибы после дождя, полезла всяческая мразь — бургомистры, старосты, полицаи; они наперегонки предлагали свои услуги оккупантам, истово им служили.

Если это и не равнялось удару в спину, то было сильнейшим для нас душевным потрясением. Люди, попавшие под власть врага, попали и в зависимость от

односельчан, земляков, соседей, пошедших на службу к врагу. Литература в меру ей тогда доступного попыталась объяснить гнусные факты. Предложенные ее объяснения небеспочвенны: измена нередко имела классовую подоплеку. Но вскоре обнаружилась недостаточность прямолинейно-социального истолкования, — число предателей росло по мере захвата немцами новых земель. Полки власовской армии, именовавшей себя «русской освободительной», не удалось бы скомплектовать из одних беглых уголовников да из «бывших».

Среди первых, кто попытался раскрыть не только классовый исток, но и индивидуальную психологию перебежчика, надо назвать Александра Довженко. Его гневный рассказ «Отступник», перепечатанный армейскими газетами, читали в землянках.

Для К. Симонова, быстро и чутко улавливавшего многооттеночность фронтовой обстановки, рано возникла тема предательства. В журнальном варианте повести «Дни и ночи» изменник Васильев (из поповской семьи) совершает всякие злодеяния, не всегда, между прочим, достоверные с точки зрения реальности переднего края. Недостаточная достоверность, упрощенность психологического истолкования и послужили, вероятно, главными причинами, побудившими писателя убрать историю Васильева из книжного издания повести. Он видел: проблема относится к сложнейшим, упрощению не подлежит. Но окончательно избавиться от схематизации ее, по-моему, ему не удалось и с годами. Нужен был принципиально новый, свободный от априорности подход.

Страх, готовность к нравственному компромиссу, жажда любой ценой, пусть и самой подлой, сохранить собственную шкуру, низость натуры тоже подталкивали людей, не обязательно «обиженных», не всегда из «бывших», в объятия палачей своего же народа, делали их самих палачами — карателями, шоферами душегубок, охранниками в лагерях уничтожения. Придет час, В. Быков и А. Адамович займутся художественным исследованием зловещего явления — измены, и все окажется куда как не просто.

К. Симонов безошибочно обнаруживает болевые точки, приближается к ним и — удерживается подчас на определенном удалении. Не осторожничание, не так-

тические ухищрения, но чувство художественной целесообразности, а также своих возможностей. Не вообще, а применительно к определенной сюжетной ситуации. Писатель не чужд рационализма, который иногда идет во благо творчеству, иногда — во вред. В данном случае его действие двояко.

К. Симонов сейчас, скорее, намечает проблему, нежели углубляется в нее. Жертвует одним ради выигрыша в другом. Но выигрыша не ценой эффектного поворота — вопреки. Софья Леонидовна подвижна органической порядочностью, душевной чистоплотностью — качествами, которые К. Симонов упорно связывает с истинной интеллигентностью.

Интеллигентность Софьи Леонидовны еще и в брезгливости, в отвращении к хамству, вульгарности, кабацкому размаху, который охотно выдает себя за широту души. Потому ей отвратителен Шурик, его пошлая и ничтожная жизнь.

Война. До щепетильности ли тут? Достаточно факта: Шурик — полицай. Софье Леонидовне недостаточно. Она втолковывает Маше, что фашизм — не монопольное достояние немцев, Шурик тоже настоящий фашист.

Мы увидим, кстати, что и В. Тендряков не считает душевную вульгарность и фашизм явлениями разноплановыми. Не всякая, естественно, вульгарность ведет к фашизму, но родство между ними не исключено. Понадобилось время, чтобы писатели, обдумывая нравственную подоплеку военного единоборства, заметили и эту его сторону, долгое время остававшуюся в тени.

В ряде произведений о войне, написанных по горячим следам событий, интеллигент, особенно старой закваски, выглядел не слишком презентабельно. Хорошо, когда всего лишь неумеха, недотепа, а то, глядишь, и трусоват. Ему недолго и руки поднять — сдаться в плен. Бытовала даже формула о перепуганных интеллигентах. Авторы настораживала сама независимость мышления и высказываний. В лучшем случае привилегию на относительную независимость мысли получал герой, занимавший высокий пост.

Сергей Волков из повести «Еще заметен след» в те годы вряд ли был возможен как персонаж положительный, и упорство, с каким Д. Гранин отстаива-

ет репутацию своего героя, не лишено прямой, правда, несколько запоздалой полемичности (и потому, мне кажется, отдает нарочитостью).

К. Симонов менее склонен к полемике, но отнюдь не уступчив. Неспроста не совсем обычная для него героиня — Софья Леонидовна — в центре совершающихся в повести событий. Помимо уже названных причин, надо полагать, дали себя знать и другие, которые угадываются, если вспомнить о происхождении писателя, а также о кое-каких замечаниях в собственный адрес.

Ему не надо было совершать выбор, перед которым оказалось поколение Софьи Леонидовны, поколение родителей писателя. Выбор ими уже осуществлен. Приемники продолжают движение. Но их подкарауливают свои сложности, им тоже иной раз приходится выбирать.

На вечере, посвященном 50-летию К. Симонова, юбиляр, нарушив традицию, заговорил о собственных ошибках, просчетах, слабостях. Признался, что не всегда был «на высоте гражданственности, на высоте человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества».

Само это признание предполагает мужество. Что до физической смелости Симонова, то она хорошо известна. Редко кто из корреспондентов с таким упорством лез во фронтовое пекло, пользовался возможностью отправиться в разведку, уйти в плавание на подводной лодке, совершающей рейд к вражескому берегу. «Случай в жизни», о каких с болью говорил писатель на юбилейном вечере, конечно же были продиктованы не низменными побуждениями. Если он и совершал нечто вызывавшее впоследствии неудовлетворение собой, сознание вины, то в минуту совершения был уверен: так надо.

Но выходит, минутное «надо» не избавляет от придирчивого самоконтроля, личной ответственности.

В годы работы над эпопеей «Живые и мертвые», в годы повышенной взыскательности к себе К. Симонову особенно импонировала героиня, внутренне независимая, живущая суверенной жизнью, вместе с тем превыше всего ставя категорию общественного «надо».

Софья Леонидовна охотно принимает «надо», возникающее на пересечении личных ее устремлений и необходимости исторической. Как нечто само собой разумеющееся, она спасает в больнице раненых политработников и командиров; предложение сообщать сведения о немцах принимает с таким хладнокровием, точно издавна готовилась к опаснейшему предпринятию.

К. Симонов намеренно делает упор на умственную и духовную самостоятельность Софьи Леонидовны, на ее непохожесть на остальных.

Зачастую интеллигенты считали свою непохожесть чем-то чуть ли не предосудительным, старались от нее избавиться, быть как все, поступать как все. Но «как все» не гарантирует от ошибок, а непохожесть — не порок и не обязательно признак дурного индивидуализма. Напротив, она-то и помогает Софье Леонидовне, оставаясь самой собой, достойно распорядиться собственной жизнью.

«На революцию и на все происшедшее после нее в стране у Софьи Леонидовны были тоже свои собственные и вполне определенные взгляды... Поначалу довольно далекая от тех взглядов, которые устанавливались и торжествовали в стране, она постепенно пришла к согласию с ними и даже увлечению ими со своего, особого бока».

Такие несколько обзорно переданные воззрения нам известны по романам и повестям о старых специалистах, с большими или меньшими колебаниями принявших послеоктябрьскую действительность. Однако писатель поставил свою героиню перед дилеммой, неизвестной ее литературным предшественникам. И тогда выяснилось: никакой дилеммы уже нет. И нет нужды педалировать колебания, интеллигентскую рефлексию.

К. Симонова не столько занимают воззрения Софьи Леонидовны, сколько ее натура — неизменная и независимая при любых обстоятельствах, при крутой перемене. Логично предположить, что если бы писатель вернулся к повести, намереваясь «довести ее до кондиции», он прежде всего постарался бы ответить на вопросы, не отпускавшие его и после завершения романа «Живые и мертвые». Зимой 1960 года К. Симонов писал из Ташкента знакомому американскому литератору:

«...Меня волнует вопрос: ради чего это было, что мы защищали с таким ожесточением и решимостью? А для того, чтобы ответить на этот вопрос прежде всего самому себе, очень полезно пожить вот так, как здесь, среди людей и дел, не имеющих прямого отношения к литературе, но имеющих прямое отношение к ответу на этот вопрос...»

В начале письма К. Симонов объясняет своему заокеанскому адресату, что он не любитель батальных картин, описания войны сами по себе его не слишком занимают. Подобные признания заставляют вспомнить слова В. Быкова об интересе к нравственному миру человека, но не к войне как таковой. Однако В. Быкову, чтобы получить ответ на не отпускающий его вопрос, нет необходимости менять место проживания, сблизиться с простыми людьми. Он, как и большинство писателей фронтового поколения, не ощущает своей обособленности от них.

Однако вопрос «ради чего?» неумолимо возникает перед каждым всерьез пишущим о войне, и каждый, сообразуясь с собственным знанием, особенностями собственной биографии, ищет на него ответ. (На этом ответе так или иначе отразятся и особенности биографии, и личный опыт автора. Тяга К. Симонова к людям, «не имеющим прямого отношения к литературе», была не столь практичной, как может показаться из письма к американцу.)

Искал для себя ответы и Владимир Тендряков, поглощенный нынешними днями, «забывший» о фронтовой юности. Но, закончив пятый десяток, вернулся к ней, ничего ровным счетом не запамätовав, сопрягая былое с новым своим опытом — человеческим и художественным. Он неотступно работал над военным циклом, будто предвидел: дни его сочтены.

Ни о чем таком, конечно, В. Тендряков не догадывался. Человек трезвого мышления, он отвергал предчувствия и не думал, что рассказу «День, вытеснивший жизнь» суждено увидеть свет, когда его уже не станет...

Три десятилетия В. Тендряков жил с подспудной памятью о войне, до поры до времени не испытывая, в отличие от своих сверстников-литераторов, потребности о ней писать. Но наступил момент, когда память властно предъявила свои права.

Только ли память?

Будучи знаком с Тендряковым не по одним лишь его книгам, рискну высказать предположение, что само время подхлестнуло, взбудоражило память, сообщило ей тот тревожный накал, какой возникает, когда она набирает силу напоминания и предостережения. Будущее чревато тысячекратно более опасным повторением. С приходом ядерного века вопрос встает не о единичной жизни, пронесенной сквозь войну, и даже не о жизни народа. Но о том — быть или не быть человечеству.

Неожиданный для постоянных читателей В. Тендрякова фронтовой рассказ написан на одном дыхании. Как продолжение того, о чем он теперь думал, что писал, чем жил прежде. Жил он, выяснилось, и далеким, далеким днем, приобщившим его к войне. Но было бы заблуждением отнести рассказ к мемуарам.

Слов нет, сержант Тенков многое взял у писателя Тендрякова, и Тендряков немалым обязан Тенкову. Отношения здесь тонкие; полагаю, писатель потратил немало усилий на их выяснение. Он не хотел кого-то повторять (о первом фронтовом дне, боевом крещении написаны повести, рассказы), но и литературное оригинальничание не в его духе, он никогда им не грешил, стремясь совершать открытия в человеке, попавшем в экстремальные условия. В таких условиях человек зачастую ведет себя не так, как следовало бы ожидать, составив мнение о нем по его обычной жизни. Какие-то непредвиденности, сюрпризы почти неизбежны. Коллеги менее всего предполагали, будто старый врач Софья Леонидовна, оказавшись в оккупированном городе, не делая над собой усилий, станет умелой подпольщицей...

У В. Тендрякова герои тоже проявляют себя вопреки первоначальному о них представлению. Оно сложилось не по анкете, не по родственным связям и происхождению. Саша Глухарев, например, красив, лих, вынослив, у него волевой подбородок. Уверенность Глухарева в себе действует и на его товарищей, и на командиров, действует на сержанта Тенкова. Общее мнение — не пустяк, многие живут, вольно или невольно сообразуясь со своей репутацией. Насколько велика зависимость от нее на войне?

В. Тендрякову надо понять, во имя чего, почему,

в каком направлении изменяется необстрелянный человек, приближаясь к Линии Фронта. Слова «Линия Фронта» В. Тендряков пишет с прописных букв. У него этот термин не просто означает передовую — а рубеж жизни. Жизни и смерти.

С жизнью покуда все ясно. В начале марша Сашка Глухарев все еще ловок, самоуверен; нескладен, комичен вчерашний студент Чуликов, хозяйствен и молчалив мужичок-кулачок Ефим Михеев, неизменно пронырлив Нинкин.

А со смертью неясно. Даже со смертью врага. Несмотря на полную определенность и правомерность призыва: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей».

У сержанта Тенкова, уже потерявшего на войне отца, есть все основания для лютой ненависти к гитлеровцам. Ему бы ликовать, заметив лежащего в лебедь соломенно-рыжего парня в зеленом мундирчике. Однако в нем поднимается брезгливость. «Но брезгливость не в душе, брезгует мое телесное нутро, а в душу просачивается невинная, смущающая жалость».

Остальные бойцы тоже почему-то не радуются, им не по себе: «Кто сказал, что труп врага сладко пахнет? Столь же отвратительно, как и любой другой труп». В. Тендряков оспаривает звучный афоризм, который, как ни удивительно, просочился и в нашу военную прозу (в одном романе содержатся глубокомысленные рассуждения, обосновывающие его). Помнил В. Тендряков о том или нет? Скорее всего — нет. Но ему ненавистно было какое-либо упоение жестокостью, попытки ее героизировать, эстетизировать. Он отчетливо сознавал: малейшее смещение нравственных принципов (пусть бы и не из дурных побуждений, а по легкомыслию или от отчаяния — «война все спишет») опасно и само по себе и по своим далеким, не всегда предугадываемым последствиям. Его сильнее, чем многих собратьев по перу, притягивало этическое «или — или», способное возникнуть вдруг, на крутом повороте, в резкой сшибке, и даже в мирное время иной раз подвести к смертной черте («Ухабы»), поставить перед альтернативой, почти неминуемо уходящей корнями в прошлое. «Падение Ивана Чупрова», как и всякое перерождение, начинается исподволь, издали.

Непредсказуемый «День, вытеснивший жизнь» в каком-то смысле логический результат писательского

движения в толщу лет, приобщение к годам, когда нравственные устои подвергались самому крутому испытанию. Война ничего не «списала». Напротив, отступив в историю, обратилась в зону неистощимо взыскательных наблюдений, где искали истоки многих последующих явлений. Пишущие о ней и читающие не без пристрастия ждали ответа на тревожащие их сегодня вопросы, и «День, вытеснивший жизнь» — один день войны — в этом плане удивительно емко, несказанно насыщен. Он позволяет перебросить мост и в далекие предвоенные времена, которые наложили свой отпечаток на людей, принявших бой с фашизмом. На всех без исключения, на симоновскую Софью Леонидовну и на парней из рассказа В. Тендрякова. Они, едва вступив в жизнь, столкнулись со смертью. Их представление о гибели вмещалось в песенную строку: «Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой». К смерти они готовы еще меньше, чем к только что сделанному печальному открытию: танки «КВ», сотрясавшие брусчатку на парадах, горят как спички.

Мотив внутренней неподготовленности бойцов к тому, что их ждет, что открывается перед ними с первого часа на фронте, давно ведется нашей литературой. Бойцы намеревались только вперед, только малой кровью, безоглядно уповали на мастерство и отвагу командиров, на высокие преимущества отечественной военной техники перед любыми танками, самолетами, орудиями врага. На поверку же все не так — у противника превосходство в числе и качестве боевых машин, у гитлеровских офицеров опыт успешных кампаний в Западной Европе и Польше.

Всею предвоенной пропагандой, фильмами и спектаклями о будущих сражениях молодежь готовилась к быстрым и легким викториям. И потому особенно растерялась, увидев: ее ждет совсем, совсем другое — пока что ей не шествовать победно по чужой земле, но с трудом, огромными потерями и горькими неудачами удерживать собственную. Из начинавших войну в сорок первом не многие надеялись своими глазами увидеть поверженный Берлин.

Что и говорить, статьи, повести, киносценарии, написанные барабанными палочками, сыграли свою дурную роль. О ней не надо забывать, но и вряд ли стоит

ее преувеличивать. Упускать из виду преобладающую атмосферу восторженности, менее всего содействующую взыскательному отношению к жизни и каждого человека к себе самому.

Уже первые летние месяцы войны разрушили иллюзии, и к началу сорок второго года маршевые роты, прибывая на фронт, не рассчитывали на быстрый, легкий успех. Но и не рассчитывая люди, особенно молодые, не могли вообразить себе смерть, кровавый ужас современной битвы.

Чем меньше иллюзий, шапкозакидательства, тем, разумеется, лучше, тем меньше обескураживающих разочарований. Но есть все-таки правда, которую надо хлебнуть самому. Тогда-то, хлебнув, каждый и раскрывается.

Своеобразие восприятия фронта! Ради этого, похоже, В. Тендряков и писал рассказ, прежде всего ради этого, связывая первый день на войне с будущим человека. Потому и сосредоточен на впечатлениях от перехода к Линии Фронта.

Бойцы увидели смерть, увидели рыжего немца в траве, услышали шелест снарядов над головой, и что-то начало изменяться. Переменилась повадка Сашки Глухарева, сдал голос. Зато Чуликов, смущенно сносивший грубоватые Сашкины шуточки, зашагал увереннее. Почувствовав близкое дуновение смерти, люди предстали в ином качестве, самоопределились. Молодые бойцы вступают в зону испытаний. Одно из них — неизвестность. Она станет постоянной спутницей этих ребят, шагающих в сторону Линии. В голове Тенкова проносится: «Бесплотный дух смерти. Вот только бы знать, моей или нет?..»

В первый фронтовой день острее всего ощущалась неизвестность. Может оттого он и не тускнеет в памяти, хотя за первым днем обычно следовали испытания потяжелей, гибель друзей, госпитальные муки. В. Тендряков сам испил чашу до дна, демобилизовался с искалеченной рукой. Но, обратившись к окопной юности, он воссоздавал далекий день, соотнося его с более поздними, когда уточнялись, закреплялись строжайшие нормы фронтовой этики. Теперь нам ясно: вот откуда его ощущение неразрывности той военной поры и наставшей мирной жизни; вот откуда его нетерпимость и максимализм. В. Тендряков имел право

вести отсчет с «дня, вытеснившего жизнь». Тогда зарождалось то, что утвердилось потом. Зарождалось почти у всех одинаково, утверждалось по-разному.

«Людам не свойственно терпеть неизвестность. Если они не в силах были что-то объяснить, то спасались самообманом. Неведомо, что там за пределами жизни каждого, а потому придумали рай и ад. Неведомо, когда и как кончится бытие рода человеческого, и вообразили себе Страшный суд. Пусть жуткий ад, пусть беспощадный суд с ужасами светопреставления, но только не неизвестность. Она противна природе, не совместима с человеческим духом».

В. Тендряков не умел, не желал мириться не только с неизвестностью, но и с какими-либо предрассудками, угнетающими, связывающими мысль, с сектантством, религиозностью, суевериями. Ему нужны были ясность, определенность, он верил в разум, который не тушется перед сложностями и противоречиями бытия, доходит до потаенной сути, будь то запутанная житейская коллизия, столкновение между людьми искусства или в сфере педагогики, споры о вере и неверии.

В таком своем устремлении, граничащем с одержимостью, он иногда упрощал человека, впадал в морализаторство и проповедничество. Однако умел увлечь, захватить, умел сделать читателя своим убежденным сторонником (в той степени, в какой писателю дано убедить читателя).

Мы подчас злоупотребляем определением «беспокойный», случается, используем его там, где точнее было бы сказать «суетливый», «разбросанный» или даже «крикливый» (крикливость иной раз прикрывает авторское безразличие, она должна создавать впечатление высокой взволнованности).

В. Тендряков беспокоен по человеческой натуре, складу характера, по природе писательского дарования. Он временами метался, с одной темы перебрасывался на другую. Человек из глубинки, с Вологодчины, он хотел писать и писал о городских делах и людях, не считая себя ограниченным сельской околицей. Но город и горожане ему не всегда давались. Увереннее чувствовал себя в деревне, о ней — лучшие его вещи. Переход к войне, негаданный на первый взгляд, — это и продолжение «деревенской прозы», во многом близкой, что не однажды отмечалось, прозе «военной». Близость при-

мечательно; объясняется она не только фронтовым прошлым «деревенщиков». Но прежде всего точкой отсчета, рубежом 50—60-х годов, когда и брали начало две родственные линии современной литературы, когда шло обновление общественной жизни, отметались обветшалые понятия, пробуждая надежды и духовную активность. В творчестве В. Тендрякова сельская линия опередила фронтовую. Но здесь, при возвращении к войне, его ждали — уверен — новые победы. «День, вытеснивший жизнь» — лишь один рассказ из задуманного и начатого им фронтового цикла.

В. Тендряков созрел как художник к середине 50-х годов. И утвердился в своих основных творческих принципах. Неожиданный фронтовой рассказ подтверждает его принадлежность к писательскому поколению, которое заявило о себе не на следующий день после войны. Понадобились нелегкие годы, чтобы во вчерашних сержантах и лейтенантах пробудились прозаики и поэты, чтобы каждый обрел собственный угол зрения, свои незаемные слова. То была пора внутреннего созревания, напряженной духовной работы, упорного самоопределения, настолько по-своему протекавшего у каждого, что дальнейшие их биографии, темы их произведений далеко не всегда совпадают. Военные события и судьбы не спешили обнажить свой глубинный смысл. В. Тендряков десятилетиями добирался до него, не желая, как и большинство сверстников, идти на упрощения. Его изначально отличала тяга к конфликтным ситуациям, «тугим узлам», неоднозначным проблемам.

Спустя сорок с лишним лет В. Тендряков снова шагал к Линии Фронта, где «каждый отмечает в себе случайное и наносное». В том для писателя смысл «дня, вытеснившего жизнь», проявившего подлинную сущность человека. Даже в мелочах, мимолетном происшествии.

Летейнант Смачкин, получивший взвод на пути к фронту, редко появляющийся перед бойцами, вдруг, выясняется, знает в лицо и по фамилии каждого, бату Ефима — по отчеству.

О, дорого стоит подобное знание, умение без добрых возгласов взбодрить бойцов, предостеречь их, необстрелянных, наслышанных о войне, но еще не отведавших, что это такое.

Постоянное стремление В. Тендрякова к контрастам, доходившее, бывало, и до лобовых противопоставлений, резко заявляет о себе в «Дне, вытеснившем жизнь». Все в рассказе контрастно, начиная от времени, которое делится на солнечное — предвоенное и наступившее — грозное. И день сержанта Тенкова, его товарищей по взводу — череда альтернатив. Больших и малых, бросающихся в глаза и еле уловимых.

В. Тендряков, как и прежде, устремлен к тому неотвратимому моменту, когда на очереди — шаг, обнажающий нутро человека. И бой для него — генеральная проверка истинной сути бойца.

Вообще-то у каждого своя война. По-разному ощущался фронт и по мере удаления от передовой, в зависимости от длительности пребывания в зоне смерти. Для солдата стрелковой роты командный пункт полка — глубокий тыл. Офицер связи из штаба дивизии прибывает на КП полка как на передовую. Шансов схлопотать пулю или осколок и у офицера связи предостаточно. Но его фронтовое мироощущение в нем-то отлично от мироощущения такого же лейтенанта, поднимающего в атаку свой взвод, Девушка-снайпер видит немца иначе, чем девушка-переводчик... Танковый экипаж, запертый в раскаленной стальной коробке с узкой смотровой щелью, воспринимает бой не так, как расчет «сорокапятки», поставленной на прямую наводку. Связист, в одиночку тянущий провод, тоже воспринимает войну на свой лад. А разведчики, идущие в ночь за Линию? Или подпольщик, чья гибель окутана глухой тайной, которая иной раз не поддается отгадке? Угоди Тоня из «Софьи Леонидовны» в руки гестаповцев, кто потом узнает о ней правду?..

Сознаем ли мы, живая сегодня под чистым небом, насколько многообразен фронтовой мир и насколько многообразны тяготы, муки, обрушиваемые им на человека! В прямой зависимости от этого многообразия находится и литература о фронте, преломляющая объективную сложность войны сквозь субъективное восприятие художника, когда-то вступившего солдатом в окопный мир, а теперь, по прошествии многих лет, вернувшегося туда с писательскими намерениями. Отсюда паразитично не похожи одна на другую книги о войне. Непохожесть иной раз способна обескуражить.

Пока суждено существовать такой литературе —

а ее, верится, ждет долгий век,— читателя будет поражать разнообразие человеческих проявлений на грани жизни и смерти. И писатели, родившиеся после победы, совершат в этом мире свои открытия, обнаружат новую правду, почему-либо недоступную их литературным предшественникам. Они по-своему осмыслят прошлое и на свой лад прочитают архивные бумаги, пожелтевшие письма фронтовиков, по-своему услышат семейные предания. Тема бесконечна еще и потому, что смерть, неизменно сопутствующая войне, тоже бесконечно многолика.

Довоенная литература наша, не очень-то признававшая смерть (герой выходил невредимым из любой передраги, опаснейшая хирургическая операция неизменно кончалась благополучно, героиня одной пьесы 30-х годов, поставив производственный рекорд, в упорении приплясывала «Горя нет! Смерти нет! Смерти нет!..»), тоже не лучшим образом готовила молодежь к войне. Смерть заговорить еще никому не удавалось. Но, с другой стороны, насколько можно подготовить человека к смерти?.. Правильнее, вероятно, говорить о серьезности и бестрепетной правдивости литературы, которая — примером тому классики — открывает человеку глаза не только на жизнь, но и на ее неумолимый конец.

Смерть, скажут, всюду смерть. Но фронтовик-связист, ползущий, чтобы устранить порыв кабеля, встретит ее с глазу на глаз. Никто не расскажет о его гибели. Не зря говорили: на миру и смерть красна, имея в виду отнюдь не живописность, но внятный, даже в чем-то поучительный для людей смысл завершения жизни.

Странный каприз памяти: в первые послевоенные годы редко вспоминался фронт. Потом фронтовые картины, лица однополчан оживали все неотвратимее. Лица не только тех, с кем можно встретиться 9 Мая, но и тех, кто уже никогда не вернется. Они-то, невернувшиеся, часто заставляли писателей возвращаться к войне («Живые и мертвые», «Мертвым не больно», «Мертвые сраму не имут»...).

Рассказ «День, вытеснивший жизнь», можно, казалось бы, рассматривать и вне армейской биографии В. Тендрякова. Только как факт биографии писательской.

Но — не отделяются друг от друга та биография и эта. В. Тендряков, допрашивая сержанта Тенкова, допрашивает и собственное прошлое. Он заново всматривается в товарищей по оружию. Военские достоинства, выказанные в первые часы подхода к Линии, не потеряли своей ценности и сегодня, когда Линия отступила в далекую историю.

Однако слабости и пороки — тоже не стали достоянием прошлого. Нравственное размежевание проходит и сейчас по тем же пунктам, что и в те времена. Правда, раньше позволительно было всего только не жаловать Зычко за солдафонские придирки. Сейчас опасна его философия: «...Шо був добреньким, забудь!» Как забыть? Проще простого: все время береги себя, выскивай любую щель, выгадывай минуту, чтобы быть подальше от Линии.

Мудрость Зычко — обоснование подлости: кто-то вместо тебя должен идти в огонь. Это не только фронтовое, но извечное: если не ты, то кто же?..

Примет Тенков мудрость Зычко, заночует с подводой в лесу — останется жив, а тяжело раненный Феоктистов умрет.

Но умрет, отомрет и совесть Тенкова. Пускай не полностью, не окончательно. Однако он уже станет в чем-то другим, и этот другой вступит в борьбу с его прежней совестью, ее остатками. Как знать, кому достанется победа? Как первая соблазнительная сделка с совестью отразится на его дальнейшей жизни, во что его превратит?

Людам свойственно ошибаться. Но ошибка ошибке рознь. Зычко не заблуждается, у него выношенные, вполне определенные воззрения на жизнь, смысл коих — выжить, непременно выжить.

А. Адамович употребляет понятие «бункерная психология», то есть психология единицы, рассчитывающей укрыться в сверхнадежном бункере, выжить и тогда, когда планета обратится в обуглившийся шар. Бункерное мышление — феномен атомного века, услада идеологов всеобщего — кроме себя, разумеется, — уничтожения. Но, как и все почти новое, оно имеет какие-то корни, корешки в прошлом, в изгибах человеческой природы. Бункерное мировоззрение произрастает и из того душевного подполья, где гнездится животный страх за собственную шкуру, уверенность, что она, эта шкура,

дороже чьей-либо жизни, чьих-либо жизней, дороже всего на свете.

Солдат из стихотворения П. Шубина слабо надеялся на чудо; Зычко надеется на собственную хитрость, изворотливость. Он нисколько не сомневается в их правомерности. И не желает думать: если все примут его философию, воевать, собственно, будет некому. Зато гитлеровцам легко будет рекрутировать изменников.

На фронте не всегда достаточно проявить смелость, выполняя приказ. Куда больше иной раз смелости требуется для самостоятельного решения, для удержания незримого морального рубежа. Тенков не заночует в лесу. Подвода заберет Феоктистова, Зычко напросится в сопровождающие — все-таки в тыл — и погибнет от шальной пули. Все вроде бы рассчитал, а войну не перехитрил. «Смелого пуля боится, смелого штык не берет» — это в мажорных стихах. Утверждение комиссара Корнева, героя раннего симоновского рассказа «Третий адъютант», будто храбрых убивает реже, чем трусов, похоже на благое пожелание. Впоследствии К. Симонов старался опровергнуть подобные афоризмы. По-моему, их перечеркивают короткие слова похоронки: «Пал смертью храбрых...»

Бесшабашный Нинкин убит ранее расчетливого Зычко. Никакого противопоставления в том нет. Рока тоже нет. Есть неизбежность. Нужна великая отвага, чтобы одолеть, повернуть вспять гитлеровские дивизии. Нужно здоровое понимание совершающегося. Оно помогает сделать то, что потом назовут чудом.

Чем дальше, тем выше ставит наша литература думающего бойца, офицера, генерала. Фронтовая смелость зависит от смелости душевной, умственной.

Не надо ничего упрощать и шарахаться из крайности в крайность. Метаморфоза, произошедшая с Чуликовым, объясняется не тем, что до войны он слушал Баха и пытался решить теорему Ферма. Но и этим тоже. С гордостью, приглушенной легкой иронией, Чуликов вспоминает, что вырос в хорошем обществе — ходил в консерваторию...

Сержант Тенков с удивлением замечает, как день — лишь один день войны — породнил его с ребятами из взвода. Его безотчетно, однако безошибочно тянет к надежному солдату бате Ефиму и к разведчику Чуликову.

На марше Тенков поднял немецкую листовку. Она оскорбила его своей тупостью («Спеши спасти свою жизнь!»), вульгарной примитивностью, циничным черносотенством. Заманивая в плен, гитлеровцы давали понять, каким они видят советского бойца, русского человека. Они мерили на свой аршин,— удалось одурачить собственный народ, удавались подобные фокусы и некоторым предшественникам фюрера.

Гитлеровцы делали ставку на примитивизм, низменные инстинкты. Стиль листовок будет меняться. Но неизменно отношение фашизма к нам как недочеловекам, подлежащим уничтожению. Уцелевшие обрекались на темноту, одичание; тут-то среди всего прочего сгодится и сомнительный афоризм, отвергнутый сержантом Тенковым: труп врага хорошо пахнет.

Брезгливое презрение Тенкова к гитлеровцам сходно с брезгливостью, какую вызывал у Софьи Леонидовны Шурик Прилипко. Фашизм самим фактом своего присутствия на земле оскорбителен для каждого, кто верит в совесть, разум, прогресс и сражается за них.

Потомственный интеллигент Симонов и крестьянский внук, интеллигент в первом поколении Тендряков непредугадываемо сближались. Интеллигентность для них — прежде всего внутренняя культура, она не всегда зависит от количества прочитанных книг и образовательного ценза родителей, но всегда непримиримо враждебна фашизму. Отечественная война для обоих писателей — война глубоко антифашистская; их герои — антифашисты по убеждению, душевному складу. И это создает атмосферу нравственной бескомпромиссности, царящую в двух столь разных произведениях. Здесь беспощадно обличается гитлеризм. Мещанин до мозга костей, Гитлер знал, на каких струнах надо играть, чтобы вызвать массовый психоз, развратить души. Не знал только, что струны быстро лопнут...

Повесть и рассказ — это так немного рядом с полками, уставленными книгами о войне. Но сколько говорят они все о той же неизменно длящейся войне. О двух писателях.

Мы в чем-то по-новому увидели Симонова и открыли «нового» Тендрякова, получив печальную возможность строить предположения, как бы Симонов дорабатывал «Софью Леонидовну», что бы еще написал Тендряков, какие перспективы открывались перед ними.

Остро почувствовали невосполнимость утраты. Увидели истоки мужества, необходимого и на войне, и за письменным столом.

«Человеческое мужество, очевидно, где-то всегда — рано или поздно — предполагает привкус горечи, потому что мужественному человеку всегда не удастся довершить всего того, что он хотел. Все, что они хотели, совершали в жизни совсем другие люди, но они ведь хотели не того, или хотели очень малого».

Это из письма Симонова, ардесованного мне из больницы. Продолжение одного нашего разговора... Приведенные строки характеризуют самого Симонова. Не в меньшей степени Тендрякова. Людей, успевших на своем веку многое совершить, изведать, но умерших ранее срока, оставив на столе белеющую страницу.

1985